

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования: В 3 т. М.: Вагриус, 2008.

Т 1: Ч. 1-2.- 592 с. (Усл. печ. Л. 31,1. Тираж 5000).

Т. 2: Ч. 3-4.- 640 с. (Усл. Печ. Л. 33,6. тираж 5000).

Т. 3: Ч. 5-7.- 688 с. (Усл. Печ. Л. 36,12. Тираж 5000)

Т. 1. С. 92-95. С конца лета 1941 года, а еще больше осенью хлынул поток окруженцев. Это были защитники отечества, те самые, кого несколько месяцев назад наши города провожали с оркестрами и цветами, кому после этого досталось встретить тяжелейшие танковые удары немцев и, в общем хаосе и не по своей совсем вине, побывать не в плену, нет! -- а боевыми разрозненными группами сколько-то времени провести в немецком окружении, и выйти оттуда. И вместо того, чтобы братски обнять их на возврате (как сделала бы всякая армия мира), дать отдохнуть, съездить к семье, а потом вернуться в строй -- их везли в подозрении, под сомнением, бесправными обезоруженными командами -- на пункты проверки и сортировки, где офицеры Особых Отделов начинали с полного недоверия каждому их слову и даже -- те ли они, за кого себя выдают. А метод проверки был -- перекрестные допросы, очные ставки, показания друг на друга. После проверки часть окруженцев восстанавливалась в своих прежних именах, званиях и доверии и шла на воинские формирования. Другая часть, пока меньшая, составила первый поток изменников родине. Они получали 58-1-б, но сперва, до выработки стандарта, меньше 10 лет.

Так очищалась армия Действующая. Но еще была огромная армия Бездействующая на Дальнем Востоке и в Монголии. Не дать заржаветь этой армии -- была благородная задача Особых Отделов. У героев Халхин-гола и Хасана при бездействии начинали развязываться языки, тем более, что им теперь дали изучать до сих пор засекреченные от собственных солдат дегтяревские автоматы и полковые минометы. Держа в руках такое оружие, им трудно было понять, почему мы на Западе отступаем. Через Сибирь и Урал им никак было не различить, что отступая по 120 километров в день, мы просто повторяем кутузовский заманивающий маневр. Облегчить это понимание мог только поток из Восточной армии. И уста стянулись, и вера стала железной.

Само собою в высоких сферах тоже лился поток виновников отступления (не Великий же Стратег был в нём повинен!). Это был небольшой, на полсотни человек, генеральский поток, сидевший в московских тюрьмах летом 1941 года, а в октябре 41-го увезенный на этап. Среди генералов больше всего авиационных -- командующий воздушными силами Смушкевич, генерал Е. С. Птухин (он говорил: "если б я знал -- я бы сперва по Отцу Родному отбомбился, а потом бы сел!") и другие.

Победа под Москвой породила новый поток: виновных москвичей. Теперь при спокойном рассмотрении оказалось, что те москвичи, кто не бежал и не эвакуировался, а бесстрашно оставался в угрожаемой и покинутой властью столице,

уже тем самым подозреваются: либо в подрыве авторитета власти (58-10); либо в ожидании немцев (58-1-а через 19-ю, этот поток до самого 1945 года кормил следователей Москвы и Ленинграда).

[...]

Добросовестность требует напомнить и об антипотоках военного времени: упомянутые чехи; поляки; отпускаемые из лагеря на фронт уголовники.

С 1943 года, когда война переломилась в нашу пользу, начался и с каждым годом до 1946-го всё обильней, многомиллионный поток с оккупированных территорий и из Европы. Две главных его части были:

-- граждане, побывавшие под немцами или у немцев (им заворачивали десятку с буквой "а": 58-1-а);

-- военнослужащие, побывавшие в плену (им заворачивали десятку с буквой "б": 58-1-б).

Каждый оставшийся под оккупацией хотел всё-таки жить и поэтому действовал, и поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием заработать себе и будущий состав преступления: если уж, не измену родине, то хотя бы пособничество врагу. Однако практически достаточно было отметить подоккупационность в сериях паспортов, арестовывать же всех было хозяйственно неразумно -- обезлюживать столь обширные пространства. Достаточно было для повышения общего сознания посадить лишь некий процент -- виноватых, полувиноватых, четвертьвиноватых и тех, кто на одном плетне сушил с ними онучи.

[...]

И не следует думать, что честное участие в подпольной противонемецкой организации наверняка избавляло от участи попасть в этот поток. Не единый случай, как с тем киевским комсомольцем, которого подпольная организация послала для своего осведомления служить в киевскую полицию. Парень честно обо всём осведомлял комсомольцев, но с приходом наших получил свою десятку, ибо не мог же он, служа в полиции, не набраться враждебного духа и вовсе не выполнять враждебных поручений.

Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе, хотя бы ост-овским рабом, потому что он видел кусочек европейской жизни и мог рассказывать о ней, а рассказы эти, и всегда нам неприятные (кроме, разумеется, путевых заметок благоразумных писателей), были зело неприятны в годы послевоенные, разорённые, неустроенные. Рассказывать же, что в Европе вовсе плохо, совсем жить нельзя -- не каждый умел.

Т. 1. С. 251-253. Что русские против нас вправду есть и что они бьются круче всяких эсэсовцев, мы отвели вскоре. В июле 1943 года под Орлом взвод русских в немецкой форме защищал, например, Собакинские Выселки. Они бились с таким отчаянием, будто эти Выселки построили сами. Одного загнали в погреб, к нему туда бросали ручные гранаты, он замолчал; но едва совались спуститься -- он снова сек автоматом. Лишь когда

ухнули туда противотанковую гранату, узнали, еще в погребке у него была яма, и в ней он перепрыгивался от разрыва противопехотных гранат. Надо представить себе степень оглушенности, контузии и безнадежности, в которой он продолжал сражаться.

Защищали они, например, и несбиваемый днепровский плацдарм южнее Турска, там две недели шли безуспешные бои за сотни метров, и бои свирепые и морозы такие же (декабрь 43-го года). В этом осточертении многодневного зимнего боя в маскхалатах, скрывавших шинель и шапку, были и мы и они, и под Мальми Козловичами, рассказывали мне, был такой случай. В перебежках между сосен запутались и легли рядом двое, и уже не понимая точно, стреляли в кого-то и куда-то. Автоматы у обоих -- советские. Патронами делились, друг друга похваливали, матерились на замерзающую смазку автомата. Наконец совсем перестало подавать, решили они закурить, сбросили с голов белые капюшоны -- и тут разглядели орла и звездочку на шапках друг у друга. Вскочили! Автоматы не стреляют! Схватили и, мордуя ими как дубинками, стали друг за другом гоняться: уж тут не политика и не родина-мать, а простое пещерное недоверие: я его пожалею, а он меня убьет.

В Восточной Пруссии в нескольких шагах от меня провели по обочине тройку пленных власовцев, а по шоссе как раз грохотала Т-тридцать четверка. Вдруг один из пленных вывернулся, прыгнул и ласточкой шлепнулся под танк. Танк увильнул, но все же раздавил его краем гусеницы. Раздавленный еще извивался, красная пена шла на губы. И можно было его понять! Солдатскую смерть он предпочитал повешению в застенке.

Им не оставлено было выбора. Им нельзя было драться иначе. Им не оставлено было выхода биться как-нибудь побережливее к себе. Если один "чистый" плен уже признавался у нас непрощаемой изменой родине, то что ж о тех, кто взял оружие врага? Поведение этих людей с нашей пропагандной топорностью объяснялось: 1) предательством (биологически? текущим в крови?) и 2) трусостью. Вот уж только не трусостью! Трус ищет где есть поблажка, снисхождение. А во "власовские" отряды вермахта их могла привести только последняя крайность, только запредельное отчаяние, только неутолимая ненависть к советскому режиму, только презрение к собственной сохранности. Ибо знали они: здесь не мелькнет им ни полоски пощады! В нашем плену их расстреливали, едва только слышали первое разборчивое русское слово изо рта. В русском плену, также как и в немецком, хуже всего приходилось русским.

Эта война вообще нам открыла, что хуже всего на земле быть русским.

Я со стыдом вспоминаю, как при освоении (то есть, разграбе) бобруйского котла я шел по шоссе среди разбитых и поваленных немецких автомашин, рассыпанной трофейной роскоши, -- и из низинки, где погрязли утопленные повозки и машины, потерянно бродили немецкие битюги и дымились костры из трофеев же, услышал вопль о помощи: "Господин капитан! Господин капитан!" Это чисто по-русски кричал мне о защите пеший в немецких брюках, выше пояса нагой, уже весь окровавленный -- на лице, груди, плечах, спине, -- а сержант-особист, сидя на лошади, погонял его перед собою кнутом и наседанием лошади. Он полосовал его по голому телу кнутом, не давая

обращиваться, не давая звать на помощь, гнал его и бил, вызывая из кожи новые красные ссадины.

Это была не пуническая, не греко-персидская война! Всякий, имеющий власть, офицер любой армии на земле должен был остановить бессудное истязание. Любой -- да, а -- нашей?.. При лютости и абсолютности нашего разделения человечества? (Если не с нами, не наш и т. д. -- то достоин только презрения и уничтожения.) Так вот, я СТРУСИЛ защищать власовца перед особистом, я НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛ И НЕ СДЕЛАЛ, Я ПРОШЕЛ МИМО, КАК БЫ НЕ СЛЫША -- чтоб эта признанная всеми чума не перекинулась на меня (а вдруг этот власовец какой-нибудь сверхзлодей?.. а вдруг особист обо мне подумает?.. а вдруг?..) Да проще того, кто знает обстановку тогда в армии -- стал ли бы еще этот особист слушать армейского капитана?